

Письмо к А. Х. Бенкендорфу 1837 года

<25 февраля — 8 марта 1837 г.>

Генерал Дубельт донес, и я, с своей стороны, почитаю обязанностью также донести вашему сиятельству, что мы кончили дело, на нас возложенное, и что бумаги Пушкина все разобраны. Письма партикулярные прочтены одним генералом Дубельтом и отданы мне для рассылки по принадлежности; рукописные *сочинения*, оставшиеся по смерти Пушкина, по возможности приведены в порядок; некоторые рукописи были шиты в тетради, занумерованы и скреплены печатью; переплетенные книги с черновыми сочинениями и отдельные листки, из коих нельзя было сделать тетрадей, просто занумерованы. Казенных бумаг не нашлось никаких. Корбова рукопись, о коей писал граф Нессельрод¹, вероятно, отыщется в библиотеке, которая на сих днях будет разобрана. Сверх означенных рукописей нашлись рукописные старинные книги, коих не было никакой нужды рассматривать; они принадлежат библиотеке. Всем нашим действиям был веден протокол, извлечение из коего, содержащее в себе полный реестр бумагам Пушкина, генерал Дубельт представил вашему сиятельству.

Приступая к напечатанию Полного собрания сочинений Пушкина и взяв на себя обязанность издать на нынешний год в пользу его семейства четыре книги «Современника», я должен иметь пред глазами манускрипты Пушкина и прошу позволения их у себя оставить с обязательством не выпускать их <из> своих рук и не позволять списывать ничего, кроме единственно того, что будет выбрано мною самим для помещения в «Современнике» и в полном издании сочинений Пушкина с одобрения цензуры. Сии манускрипты, занумерованные, записанные в протокол и в особый реестр, всегда будут у меня налицо, и я всякую минуту буду готов представить их на рассмотрение правительства. Хотя я теперь, после внимательного разбора, вполне убежден, что между сими рукописями ничего предосудительного памяти Пушкина и вредного обществу не находится, но для собственной безопасности наперед протестую перед вашим сиятельством против всего, что может со временем, как то бывало часто и прежде, распущено быть в манускриптах под именем Пушкина. Если бы паче чаяния и нашлось в бумагах его что-нибудь предосудительное, то я разносчиком такого рода сочинений не буду и списка их никому не дам. В этом уверяю один раз навсегда, и все противное этому один раз навсегда отвергаю. Таковую

¹ *Корбова рукопись* — «Дневник поездки в Московское государство в 1608 году» И.-Г. Корба, опубликованный в Вене в 1700 г. Пушкин, вероятно, пользовался рукописным переводом книги, полученным через К. В. Нессельроде.

предосторожность почитаю необходимою тем более, что на меня уже был сделан самый нелепый донос. Было сказано, что три пакета были вынесены мною из горницы Пушкина. При малейшем рассмотрении обстоятельств такое обвинение должно бы было оказаться невероятным. Пушкин был привезен в шесть часов после обеда домой 27-го числа января. 29-го в десять часов утра государь император благоволил поручить мне запечатать кабинет Пушкина (предоставив мне самому сжечь все, что найду предосудительного в бумагах). Итак, похищение могло произойти только в промежуток между 6 часов 27-го числа и 10 часов 29-го числа. С этой же поры, то есть с той минуты, как на меня возложено было сбережение бумаг, всякая утрата их сделалась невозможною. Или мне самому надлежало сделаться похитителем, вопреки повеления государя и моей совести. Но и это, во-первых, было бы ненужно; ибо все вверено было мне, и я имел позволение сжечь все то, что нашел бы предосудительным: на что же похищать то, что уже мне отдано; во-вторых, невозможно (если бы я был на это способен); ибо, чтобы взять бумаги, надобно знать, где лежат они, это мог сказать один только Пушкин, а Пушкин умирал. Замечу здесь, однако, что я бы первый исполнил его желание, если бы он (прежде, нежели я получил повеление, данное государем, опечатать бумаги) сам поручил мне отыскать какую бы то ни было бумагу, ее уничтожить или кому-нибудь доставить. Кто же подобных препоручений умирающего не исполнит свято, как завещание? Это даже и случилось: он велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближнего ящика, и ее сожгли перед его глазами, а Данзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся в нем цепочку. Более никаких распоряжений он не делал и не был в состоянии делать. Итак, какие бумаги, где лежали, узнать было и не можно и некогда. Но я услышал от генерала Дубельта, что ваше сиятельство получили известие о похищении трех пакетов от лица доверенного (*de haute volée*)^{*}. Я тотчас догадался, в чем дело. Это доверенное лицо могло подсмотреть за мною только в *гостиной*, а не в *передней*, в которую вела запечатанная дверь из кабинета Пушкина, где стоял гроб его и где бы мне трудно было действовать без свидетелей. В гостиной же точно в шляпе моей можно было подметить не три пакета, а пять; жаль только, что неизвестное мне доверенное лицо не подумало если не объясниться со мною лично, что, конечно, не в его роли, то хотя для себя узнать какие-нибудь подробности, а поспешило так жадно убедиться в похищении и обрадовалось случаю выставить перед правительством свою зоркую наблюдательность насчет моей чести и своей совести. Эти пять пакетов были просто оригинальные письма Пушкина, писанные им к его жене, которые она сама вызвалась дать мне прочитать; я их привел в порядок, сшил в тетради и возвратил ей. Пакетов же, к счастью, не разорвал, и они могут теперь служить убедительными свидетелями всего сказанного мною. Само по себе разумеется, что такие письма, мне вверенные, не могли принадлежать к тем бумагам, кои мне приказано было рассмотреть. Впрочем, и представлять было бы не нужно: все они были читаны², в чем убедило меня и то, что между ними нашлось

* Высокого полета.

² *Все они были читаны* — намек на перлюстрацию писем Пушкина. Ниже Жуковский упоминает письмо Пушкина к жене от 20—22 апреля 1834 г., которое было вскрыто на почте, прочтено полицией и передано царю. В этом письме Пушкин в ироническом тоне писал о своих взаимоотношениях с царями.

именно то письмо, из которого за год перед тем некоторые места были представлены государю императору и навлекли на Пушкина гнев его величества, потому что в отдельности своей представляли совсем не тот смысл, какой имели в самом письме в совокупности с целым. Этот случай мне особенно памятен, потому что мне была показана вашим сиятельством эта выписка; я тогда объяснил ее наугад и теперь по прочтении самого письма вижу, что моя догадка меня не обманула.

Не имею нужды уверять ваше сиятельство в том уважении, которое (несмотря на многое мне лично горестное) я имею к вашему благородному характеру. В этом вы сами должны быть уверены. Новым доказательством моего к вам чувства пускай послужит та искренность, с которою говорить с вами намерен. Такому человеку, как вы, она ни оскорбительна, ни даже неприятна быть не может.

Сперва буду говорить о самом Пушкине. Смерть его все обнаружила, и несчастное предубеждение, которое наложили на всю жизнь его буйные годы первой молодости и которое давило пылкую душу его до самого гроба, теперь должно, и, к несчастью, слишком поздно, уничтожиться перед явною очевидностью. Мы разобрали все его бумаги. Полагали, что в них найдется много нового, писанного в духе враждебном против правительства и вредного нравственности. Вместо того нашли бумаги, разительно доказывающие совсем иной образ мыслей: это особенно выразилось в его письме к Чаадаеву, которое он, по-видимому, хотел послать не по почте, но не послал, вероятно, по той причине, что он не желал своими опровержениями оскорблять приятеля, уже испытавшего заслуженный гнев государя³. Одним словом, нового предосудительного не нашлось ничего и не могло быть найдено. Старое, писанное в первой молодости, то именно, около чего вертелись все предубеждения, на нем лежавшие, все, как видно, было им самим уничтожено (сколько можно судить теперь); в бумагах его не осталось и черновых рукописей. Он сам про себя осудил свою молодость и произвольно истребил для самого себя все несчастные следы ее. Что же из сего следует заключить? Не то ли, что Пушкин в последние годы свои был совершенно не тот, каким видели его впервые? Но таково ли было об нем ваше мнение? Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные: во всех них, должен сказать, выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении. Во все эти двенадцать лет, прошедшие с той минуты, в которую государь так великодушно его присвоил, его положение не переменилось; он все был как буйный мальчик, которому страшишься дать волю, под строгим, мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные: ибо от вас оно не могло быть иначе. Но надзор все надзор. Годы проходили; Пушкин созрел; ум его остепенялся. А прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было то же и то же. Он написал «Годунова», «Полтаву», свои оды «К клеветникам России», «На взятие Варшавы»⁴, то есть все свое лучшее, принадлежащее нынешнему царствованию, а в суждении об нем все указывали на его оду «К свободе»⁵,

³ За опубликование «Философического письма» («Телескоп», 1836, № 15) Чаадаев был объявлен сумасшедшим и отдан под надзор полиции, «Телескоп» запрещен, а его редактор Н. И. Надеждин выслан из Москвы. Письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября 1836 г. — см.: XVI, 171.

⁴ Имеется в виду стихотворение «Бородинская годовщина», напечатанное в брошюре «На взятие Варшавы».

⁵ Ода «Вольность».

«Кинжал», написанный в 1820 году; и в 36-летнем Пушкине видели все 22-летнего. Ссылаюсь на вас самих, такое положение могло ли не быть огорчительным? К несчастью, оно и не могло быть иначе. Вы на своем месте не могли следовать за тем, что делалось внутри души его. Но подумайте сами, каково было бы вам, когда бы вы в зрелых годах были обременены такою сетью, видели каждый шаг ваш истолкованным предубеждением, не имели возможности произвольно переменить место без навлечения на себя подозрения или укора. В ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему было в том отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем же была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое могло быть ему дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его «Петр Великий», его поэмы, его произведения, коими бы ознаменовалось нынешнее славное время? Для такой службы нужно свободное уединение. Какое спокойствие мог он иметь с своею пылкою, огорченною душой, с своими стесненными домашними обстоятельствами, посреди того света, где все тревожило его суетность, где было столько раздражительного для его самолюбия, где, наконец, тысячи презрительных сплетней, из сети которых не имел он возможности вырваться, погубили его. Государь император назвал себя его цензором. Милость великая, особенно драгоценная потому, что в ней обнаруживалось все личное благоволение к нему государя. Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. Легко ли было ему беспокоить государя всякою мелочью, написанною им для помещения в каком-нибудь журнале? На многое, замеченное государем, не имел он возможности делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать? И мог ли вскоре решиться на то Пушкин? А если какие-нибудь мелкие стихи его являлись напечатанными в альманахе (разумеется, с ведома цензуры), это ставилось ему в вину, в этом виделись непослушание и буйство, ваше сиятельство делали ему словесные или письменные выговоры, а вина его состояла или в том, что он с такою мелочью не счел нужным идти к государю и отдавал ее просто на суд общей для всех цензуры (которая, конечно, к нему не была благосклоннее, нежели к другим), или в том, что стихи, ходившие по рукам в рукописи, были напечатаны без его ведома, но также с одобрения цензуры (как то случилось с этими несчастными стихами к Лукуллу, за которые не одни вы, но и все друзья его жестоко ему упрекали)⁶. Замечу здесь, однако, что злонамереннее этих стихов к Лукуллу он не написал ничего, с тех пор как государь император так благотворно обратил на него свое внимание. Зато весьма часто ему было приписываемо чужое, как бы оно, впрочем, ни было нелепо. Но что же эти стихи к Лукуллу? Злая эпиграмма на лицо, даже не пасквиль, ибо здесь нет имени. Пушкин хотел отомстить ею за какое-то личное оскорбление; не оправдываю его нравственности, но тут еще нет ничего возмутительного противу правительства. И какое дело правительству до эпиграммы

⁶ «На выздоровление Лукулла» — сатира на С. С. Уварова, известного, кроме крайней реакционности, еще и стяжательством. Она привлекла всеобщее внимание и, вопреки утверждению Жуковского, была с удовлетворением встречена друзьями поэта. «Спасибо переводчику с латинского, — писал А. И. Тургенев Вяземскому, — <...> Пушкин заклеил его <Уварова> бессмертным поношением» (*ЛН*, т. 58, с. 120).

на лица? Даже и для того, кто оскорблен такою эпиграммою, всего благоразумнее не узнавать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление. Могу указать на многих окружающих государя императора и заслуживающих его доверенность, которые не скупятся на эпиграммы; правда, эти эпиграммы без рифм и неписанные, но зато они повторяются в обществе словесно (на что уже нет никакой цензуры) и именно оттого врезаются глубже в память. Наконец, в одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию прежде, нежели она была одобрена ⁷. Да что же это за преступление? Кто из писателей не сообщает своим друзьям своих произведений для того, чтобы слышать их критику? Неужели же он должен до тех пор, пока его произведение еще не позволено официально, сам считать его непозволенным? Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его, оно есть дело семейное, то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить, располагать своим временем и прочее. Такого рода запрещения вредны потому именно, что они бесполезны, раздражительны и никогда исполнены быть не могут.

Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние, видя, что ни годы, ни самый изменившийся дух его произведений ничего не изменили в том предубеждении, которое раз навсегда на него упало и, так сказать, уничтожило все его будущее? Вы называете его и теперь демагогическим писателем. По каким же его произведениям даете вы ему такое имя? По старым или по новым? И какие произведения его знаете вы, кроме тех, на кои указывала вам полиция и некоторые из литературных врагов, клеветавших на него тайно? Ведь вы не имеете времени заниматься русскою литературою и должны в этом случае полагаться на мнение других? А истинно то, что Пушкин никогда не бывал демагогическим писателем. Если по старым, ходившим только в рукописях, то они все относятся ко времени до 1826 года; это просто грехи молодости, сначала необузданной, потом раздраженной заслуженным несчастием. Но демагогического, то есть написанного с намерением волновать общество, ничего не было между ими и тогда. Заговорщики против Александра пользовались, может быть, некоторыми вольными стихами Пушкина, но в их смысле (в смысле бунта) он не написал ничего, и они ему были чужды. Это, однако, не помешало (без всяких доказательств) причислить его к героям 14 декабря и назвать его замышлявшим на жизнь Александра. За его напечатанные же сочинения и в особенности за его новые, написанные под благотворным влиянием нынешнего государя, его уже никак нельзя назвать демагогом. Он просто русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу. Что же касается до политических мнений, которые имел он в последнее время, то смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических? Правда и то, что вы на своем месте осуждены думать, что с вами не может быть никакой искренности, вы осуждены видеть

⁷ «Трагедия» — «Борис Годунов». Жуковский имеет в виду письмо Бенкендорфа к Пушкину от 22 ноября 1826 г. (XIII, 307).

притворство в том мнении, которое излагает вам человек, против которого поднято ваше предубеждение (как бы он ни был прямодушен), и вам нечего другого делать, как принимать за истину то, что будут говорить вам <о нем> другие. Одним словом, вместо оригинала вы принуждены довольствоваться переводами, всегда неверными и весьма часто испорченными, злонамеренных переводчиков. Я сообщу вашему сиятельству в немногих словах политические мнения Пушкина, хотя наперед знаю, что и мне вы не поверите, ибо и я имею несчастье принадлежать к тем оригиналам, которые известны вам по одним лишь ошибочным переводам. *Первое.* Я уже не один раз слышал и от многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, что он был в последние свои годы) решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чадаеву). *Второе.* Пушкин был решительным противником *свободы книгопечатания*, и в этом он даже доходил до излишества, ибо полагал, что свобода книгопечатания вредна и в Англии. Разумеется, что он в то же время утверждал, что цензура должна быть строга, но беспристрастна, что она, служа защитой обществу от писателей, должна и писателя защищать от всякого произвола. *Третье.* Пушкин был враг Июльской революции. По убеждению своему он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимою гарантией спокойствия Европы, но права его опровергал и непоколебимость законного наследия короны считал главнейшею опорой гражданского порядка. Наконец, *четвертое.* Он был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатиком. Таковы были главные, коренные политические убеждения Пушкина, из коих все другие выходили как отрасли. Они были известны мне и всем его ближним из наших частых, непринужденных разговоров. Вам же они быть известными не могли, ибо вы с ним никогда об этих материях не говорили; да вы бы ему и не поверили, ибо, опять скажу, ваше положение таково, что вам нельзя верить никому из тех, кому бы ваша вера была вниманием, и что вы принуждены насчет других верить именно тем, кои недостойны вашей веры, то есть доносчикам, которые нашу честь и наше спокойствие продают за деньги или за кредит, или светским болтунам, которые неподкупною <следующее слово неразборчиво>, иногда одним словом, брошенным на ветер, убивают доброе имя. Как бы то ни было, но мнения политические Пушкина были в совершенной противоположности с системой буйных демагогов. И они были таковы уже прежде 1830 года. Пушкин мужал зрелым умом и поэтическим дарованием, несмотря на раздражительную тягость своего положения, которому не мог конца предвидеть, ибо он мог постичь, что не изменившееся в течение десяти лет останется таким и на целую жизнь и что ему никогда не освободиться от того надзора, которому он, уже отец семейства, в свои лета подвержен был как двадцатилетний шалун. Ваше сиятельство не могли заметить этого угнетающего чувства, которое грызло и портило жизнь его. Вы делали изредка свои выговоры, с благим намерением, и забывали об них, переходя к другим важнейшим вашим занятиям, которые не могли дать вам никакой свободы, чтобы заняться Пушкиным. А эти

выговоры, для вас столь мелкие, определяли целую жизнь его: ему нельзя было тронуться с места свободно, он лишен был наслаждения видеть Европу, ему нельзя было произвольно ездить и по России, ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения, в каждом стихах его, напечатанных не им, а издателем альманаха с дозволения цензуры, было видно возмущение. Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровительства сделали надзор, который всегда притеснителен, сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден (как все, что от вас истекает).

Обращаюсь теперь ко второму предмету, о коем хотел говорить с вашим сиятельством: к тому, что произошло по случаю смерти Пушкина. Я долго колебался, писать ли к вам об этом. Об этом происшествии уже не говорят; никаких печальных следствий оно не имело, толки умолкли — для чего же возобновлять прение о том, что лучше совсем изгладить из памяти. Это правда; но если общие толки утихли, то предубеждение еще осталось, и многие благоразумные люди не шутя уверены, что было намерение воспользоваться смертью Пушкина для взволнования умов; но главное то, что я считаю своею обязанностью отразить в глазах государя императора то обвинение, которое на меня и на немногих друзей Пушкина падает, и сказать слово в оправдание наше, не обвиняя никого и даже не имея никакой надежды быть оправданным.

Если бы Пушкин умер после долговременной болезни или после быстрого удара, о нем бы пожалели, общее чувство национальной потери выразилось бы в разговорах, каких-нибудь статьях, стихами или прозою; в обществе поговорили бы о нем и скоро бы замолчали, придав его памяти современников, умевших ценить его высокое дарование, и потомству, которое, конечно, сохранит к нему чистое уважение. Но Пушкин умирает, убитый на дуэли, и убийца его француз, принятый в нашу службу с отличием; этот француз преследовал жену Пушкина и за тот стыд, который нанес его чести, еще убил его на дуэли. Вот обстоятельства, поразившие вдруг все общество и сделавшиеся известными во всех классах народа, от Гостиного двора до петербургских салонов. Если бы, таким образом, погиб и простой человек, без всякого национального имени, то и об нем заговорили бы повсюду, но это была бы просто светская болтовня, без всякого особенного чувства. Но здесь жертвою иноземного развратника сделался первый поэт России, известный по сочинениям своим большому и малому обществу. Чему же тут удивляться, что общее чувство при таком трагическом происшествии вспыхнуло сильно. Напротив, надлежало бы удивиться, когда бы это сильное чувство не вспыхнуло и если бы в обществе равнодушно приняли такую внезапную потерю и не было бы такое равнодушие оскорбительно для чувства народности. Прибавить надобно к этому и то, что обстоятельства, предшествовавшие кровавой развязке, были всем известны, знали, какими низкими средствами старались раздражить и осрамить Пушкина; анонимные письма были многими читаны, и об них вспомнили с негодованием. Итак, нужно ли было кому-нибудь особенно заботиться о том, чтобы произвести в обществе то впечатление, которое неминуемо в нем произойти должно? Разве дуэль была тайною? Разве обстоятельства его были тайною? Разве погиб на дуэли не Пушкин? Чему же удивляться, что все ужаснулись,

что все были опечалены и все оскорбились? Какие же тайные агенты могли быть нужны для произведения сего неизбежного впечатления?

Весьма естественно, что, после того как распространилась в городе весть о гибели Пушкина, поднялось много разных толков; весьма естественно, что во многих энтузиазм к нему как к любимому русскому поэту оживился безвременно трагической смертью (в этом чувстве нет ничего враждебного; оно, напротив, благородное и делает честь нации, ибо изъявляет, что она дорожит своею славою); весьма естественно, что этот энтузиазм, смотря по разным характерам, выражался различно, в одних с благоразумием умеренности, в других с излишнею пылкостью; в других, и, вероятно, во многих, было соединено с негодованием против убийцы Пушкина, может быть, и с выражением мщения. Все это в порядке вещей, и тут еще нет ничего возмутительного. Не знаю, что в это время говорилось и делалось в обществе (ибо и я, и прочие обвиненные друзья Пушкина были слишком заняты им самим, его страданиями, его смертью, его семейством, чтобы заботиться о толках в обществе и еще менее о том, как бы производить эти толки), но по слухам, дошедшим до меня после, полагаю, что блюстительная полиция подслушала там и здесь (на улицах, в Гостином дворе и проч.), что Геккерну угрожают; вероятно, что не один, а весьма многие в народе ругали иноземца, который застрелил русского, и кого же русского, Пушкина? Вероятно, что иные толковали между собою, как бы хорошо было его побить, разбить стекла в его доме и тому подобное; вероятно, что и до самого министра Геккерна доходили подобные толки, и что его испуганное воображение их преувеличивало, и что он сообщил свои опасения и требовал защиты. С другой стороны, вероятно и то, что говорили о Пушкине с живым участием, о том, как бы хорошо было изъявить ему уважение какими-нибудь видимыми знаками; многие вероятно, говорили, как бы хорошо отпрячь лошадей от гроба и довести его на руках до церкви; другие, может быть, толковали, как бы хорошо произнести над ним речь и в этой речи поразить его убийцу, и прочее, и прочее. Все подобные толки суть единственное следствие подобного происшествия; его необходимый, неизбежный отголосок. Блюстительная полиция была обязана обратить на них внимание и взять свои меры, но взять их без всякого изъявления опасения, ибо и опасности не было никакой. До сих пор все в порядке вещей. Но здесь полиция перешла за границы своей бдительности. Из толков, не имевших между собой никакой связи, она сделала заговор с политической целью и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель и должны бы были иметь особенную натуру, чтобы, в то время как их душа была наполнена глубокою скорбью, иметь возможность думать о волновании умов в народе через каких-то агентов, с какою-то целью, которой никаким рассудком постигнуто быть не может. Раз допустивши нелепую идею, что заговор существует и что заговорщики суть друзья Пушкина, следствия этой идеи сами собою должны были из нее излиться. Мы день и ночь проводили перед дверями умирающего Пушкина; на другой день после дуэли, то есть с утра 28-го числа до самого выноса гроба из дома, приходили посторонние, сначала для осведомления о его болезни, потом для того, чтобы его увидеть в гробе, — приходили с тихим, смиренным чувством участия, с молитвою за него и горевали о нем, как о друге, скорбели о том великом даровании, в котором утасла одна из звезд нашего отечества, и в то

же время с благодарностию помышляли о государе, который, можно сказать, был впереди нас тем участием, что так человечески, заодно с нами выразил в то же время. За государя, очистившего, успокоившего конец Пушкина, простое трогательное, христианское выражение национального чувства — и все это делалось так тихо; более десяти тысяч человек⁸ прошло в эти два дни мимо гроба Пушкина, и не было слышно ни малейшего шума, не произошло ни малейшего беспорядка; жалели о нем; большая часть молилась за него, молилась и за государя; почти никому не пришло в голову, в виду гроба, упомянуть о Геккерне. Что же тут было, кроме умиленного, кроме возвышающего душу? И нам, друзьям Пушкина, до самого того часа, в который мы перенесли гроб его в Конюшенную церковь, не приходило и в голову ничего иного, кроме нашей скорби о нем и кроме благодарности государю, который явился нам во всей красоте своего человеколюбия и во всем величии своего царского сана; ибо он утешил его смерть, призрел его сирот, уважил в нем русского поэта как русский государь и в то же время осудил его смерть как судия верховный. Какое нравственное уродство надлежало иметь, чтобы остаться нечувствительным перед таким трогательным величием и иметь свободу для каких-то замыслов, коих цели никак себе представить не можно и кои только естественны сумасшедшим.

Но, начавши с ложной идеи, необходимо дойдешь и до заключений ложных; они производят и ложные меры. Так здесь и случилось. Основываясь на ложной идее (опровергнутой выше), что Пушкин — глава демагогической партии, произвели и друзей его в демагоги. Друзья не отходили от его постели, и в то же время разные толки бродили по городу и по улицам (толки, не имеющие между собою связи). Из этого сделали заговор, увидели какую-то тайную нить, связывающую эти толки, ничем не связанные, и эту нить дали в руки друзьям его. Под влиянием этого непостижимого предубеждения все самое простое и обыкновенное представилось в каком-то таинственном, враждебном свете. Граф Строганов, которого уже нельзя обвинить ни в легкомыслии, ни в демагогии, как родственник взял на себя учреждение и издержки похорон Пушкина; он призвал своего поверенного человека и ему поручил все устроить. И оттого именно, что граф Строганов взял на себя все издержки похорон, произошло то, что они произведены были самым блистательным образом, согласно с благородным характером графа. Он приглашал архиерея, и как скоро тот отказался от совершения обряда, пригласил трех архимандритов. Он назначил для отпевания Исаакиевский собор, и причина назначения была самая простая: ему сказали, что дом Пушкина принадлежал к приходу Исаакиевского собора; следовательно,

⁸ Назывались и другие цифры: С. Н. Карамзина писала 20 000 (см. Пушкин в воспоминаниях современников. — 3-е изд., доп. — СПб.: Академический проект, 1998. — Т. 1—2. Т. 2. — 1998. — С. 379), Я. Н. Неверов — 32 000 («Моск. пушкинист», вып. 1. М., 1927, с. 44), прусский посол Либерман — 50 000 (*Щеголев*, с. 384). Смерть Пушкина вызвала в обществе взрыв возмущения. Об этом доносили своим правительствам аккредитованные в Петербурге послы. В их донесениях (*Щеголев*, с. 371—417) мелькают слова: «национальная потеря» (шведский поверенный в делах Г. Нордин), «национальное негодование», «всеобщее возмущение» (баварский посол Лерхенфельд). «мучительнейшее впечатление на публику» (датский посол Бломе). Выявилось резкое размежевание общества. С. Н. Карамзина точно сформулировала это в словах о «нашем» обществе — где защищают Дантеса, и «втором» — где оплакивают поэта и возмущаются его убийцей (м. Пушкин в воспоминаниях современников. — 3-е изд., доп. — СПб.: Академический проект, 1998. — Т. 1—2. Т. 2. — 1998. — С. 380). Тот же контраст между «плебейскими почестями» поэту и равнодушием «раззолоченных салонов» отметила и Е. Н. Мещерская (см. ее письмо к М. И. Мещерской. — м. Пушкин в воспоминаниях современников. — 3-е изд., доп. — СПб.: Академический проект, 1998. — Т. 1—2. Т. 2. — 1998. — С. 418—420).

иной церкви назначать было не можно; о Конюшенной же церкви было нельзя и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особенное позволение, в коем и нужды не было, ибо имели в виду приходскую церковь. Билеты приглашенным были разосланы без всякого выбора; Пушкин был знаком целому Петербургу; сделали для погребения его то, что делается для всех; дипломатический корпус приглашен был, потому что Пушкин был знаком со всеми его членами; для назначения же тех, кому посылать билеты, сделали просто выписку из реестра, который взят был у графа Воронцова. Следующее обстоятельство могло бы, если угодно, показаться подозрительным. Мне сказали, кто, право, не помню, что между приглашенными на похороны забыты некоторые из прежних лицейских товарищей Пушкина. Я отвечал, что надобно непременно их пригласить. Но было ли это исполнено, не знаю. Этим я не занялся, но если бы мною были рассылаемы билеты, то, конечно бы, лицейские друзья Пушкина не были забыты. Как бы то ни было, но все до сих пор в обыкновенном порядке. Вдруг полиция догадывается, что должен существовать заговор, что министр Геккерн, что жена Пушкина в опасности, что во время перевоза тела в Исаакиевскую церковь лошадой отпрягут и гроб понесут на руках, что в церкви будут депутаты от купечества, от университета, что над гробом будут говорены речи (обо всем этом узнал я уже после по слухам). Что же надлежало бы сделать полиции, если бы и действительно она могла предвидеть что-нибудь подобное? Взять с большею бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком обыкновенном погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора, не оскорблять своими нелепыми обвинениями людей, не заслуживающих и подозрения, одним словом, не производить самой того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Вместо того назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на который собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь. И, признаюсь, будучи наполнен главным своим чувством, печалью о конце Пушкина, я в минуту выноса и не заметил того, что вокруг нас происходило; уже после это пришло мне в голову и жестоко меня обидело.

Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы. Изд. 3-е. М.—Л. Госиздат. 1928, с. 242—257.

Впервые (отрывки) — в книге А. Н. Веселовского «В. А. Жуковский. Поэзия чувства и „сердечного воображения“». СПб., 1904. Полностью — в книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Пг., 1916. В настоящем издании печатается первоначальный черновик письма, без последующих исправлений, внесенных Жуковским в писарскую копию.